Глава 5

КОНЕЦ 1950-Х

В Институте мировой литературы Кожинов встретился со стариками, родившимися еще в XIX веке, каждый из которых был человеком многослойной и очень непростой судьбы. Иван Никанорович Розанов, Корнелий Люцианович Зелинский, Леонид Ефимович Пинский, Иван Михайлович Гронский, Яков Ефимович Эльсберг, Юлиан Григорьевич Оксман... Молодые смотрели на своих старших коллег с почтением и с ощущением солидной дистанции, которая по мере всё более тесной совместной работы неуклонно сокращалась.

Молодые – это Пётр Палиевский, Сергей Бочаров, Георгий Гачев, Виталий Сквозников, Юрий Борев... С некоторыми из них Вадим встретился, как со старыми знакомыми ещё по университету.

Кожинов специализировался по теории литературы, в сфере его внимания изначально были общетеоретические проблемы искусства в целом, но тему будущей диссертации он определил как становление европейского романа.

Идей множество, библиотека в ИМЛИ богатейшая (иных книг не найдёшь и в Ленинке!), история жанра поистине захватывающая, тем более, если брать её в историческом освещении.

Башня из слоновой кости? Ждите! В идеологическом учреждении даже кабинетика из этого экзотического материала не предусмотрено.

На закате сталинской эпохи в журналах кипели страсти по поводу только-только напечатанных романа Гроссмана, повестей Казакевича и Пановой, "Районных будней" Овечкина... Кожинов читал их, но после рецензии на Николаеву не реагировал, сочтя всю эту литературу однотипной и однолинейной... При этом работу над материалом по западноевропейскому роману сочетал с работой над своим любимым Маяковским, который, казалось, органически сочетался с новым временем, словно сбывалась на глазах стихотворная молитва "горлана": "Не листай страницы! Воскреси!"

...Тут же страницы "Нового мира" с дивным Заболоцким, "Знамени" с циклом Пастернака "Стихотворения из романа "Доктор Живаго" (послевоенное его "Избранное" Кожинов читал и перечитывал, но здесь, как и многие, совершенно заново открывал, казалось бы, давно знакомого и любимого поэта)... Конечно, рядом со всем этим вызывали вполне естественное любопытство, но как-то не особенно захватывали небольшие бури на страницах "Литературной газеты", будь то фельетон "За голубым забором" неких

Продолжение. Начало в № 1-6 за 2019 год.

А. Суконцева и И. Шатуновского, посвящённый Сталинскому лауреату Николаю Вирте, или открытое письмо “Замалчивая острые вопросы” в “Комсомольской правде”, написанное в защиту нашумевшей статьи В. Померанцева “Об искренности в литературе” и подписанное, в частности, кожиновскими университетскими однокашниками Сергеем Бочаровым и Владиславом Зайцевым.

Но все “литературные треволнения” отступали перед тем, что творилось в общественно-политической жизни страны.

А творилось нечто полуфантастическое с точки зрения не только рядового обывателя, но и человека, более или менее искушенного в политике. Ещё совсем недавний “культ Сталина” начал сменяться его же “антикультом”. Новая власть ясно пыталась дать понять согражданам, что жизнь продолжается (да и должна продолжаться!) и без бывшего вождя.

Массовая реабилитация бывших политзаключённых началась в 1953 году. По бериевскому указу 27 марта “Об амнистии” на свободу вышли 100 тысяч заключённых (из 580 тысяч) ещё до осени. 1 февраля 1954 года на стол “Секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущёву Н. С.” легла справка за подписью Генерального прокурора Руденко, министра внутренних дел Круглова и министра юстиции Горшенина:

“В связи с поступающими в ЦК КПСС сигналами от ряда лиц о незаконном осуждении за контрреволюционные преступления в прошлые годы Коллегией ОГПУ, тройками НКВД и Особым совещанием, Военной коллегией, судами и военными трибуналами и в соответствии с Вашими указаниями о необходимости пересмотреть дела на лиц, осуждённых за контрреволюционные преступления и ныне содержащихся в лагерях и тюрьмах, докладываем: за время с 1921 года по настоящее время на контрреволюционные преступления было осуждено 3.777.380 человек, в том числе к ВМН – 642.980 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже – 2.369.220 человек, в ссылку и высылку – 765.180 человек.

Из общего количества осуждённых ориентировочно осуждено: 2.900.000 человек – Коллегией ОГПУ, тройками НКВД и Особым совещанием и 877.000 человек – судами, военными трибуналами, Спецколлегией и Военной коллегией...”

Это был документ “закрытый”, для внутреннего пользования, и каждый вменяемый человек, полагаю, согласится, что причины намеренно преуменьшать количество репрессированных ни у Генерального прокурора, ни у министра внутренних дел, ни у министра юстиции не было и не могло быть. Тем более в ситуации, когда борьба с “культом личности Сталина” начинала принимать гипертрофированные формы.

Всех, кто ещё по инерции или в силу честного отношения к самим себе и к прошедшей жизни пытался следовать “прежнему курсу”, участь ждала незавидная.

Если раньше редакторы, руководствуясь невесть кем написанными правилами, настаивали на включении не только в тексты публицистических статей, но и в тексты художественных произведений цитат из Сталина и упоминаний о нём, то теперь картина изменилась кардинально: любое не то что доброе, но даже нейтральное слово о Сталине вышвыривалось вон. Константин Симонов, обозначивший в статье, опубликованной в “Литературной газете”, “самую важную” задачу в литературе – “во всём величии и во всей полноте запечатлеть... образ величайшего гения всех времён и народов – бессмертного Сталина”, – через несколько месяцев, в августе 1953 года лишился своего поста, а потом и вовсе вынужден был уехать из Москвы. В 3-м номере “Нового мира” читатели (и Вадим среди них), наверное, с особым чувством в меняющейся на глазах атмосфере прочли отрывок из новой поэмы Александра Твардовского “За далью даль”, представляющий собой текст, направленный п о п е р ё к всей тогдашней политики (неудивительно, что и Симонов, и Твардовский могли свои сочинения опубликовать лишь в тех органах, где они сами были главными редакторами):

...И все одной причастны славе,
Мы были сердцем с ним в Кремле.
Тут ни убавить, ни прибавить —
Так это было на земле.

И пусть тех дней минувших память
Запечатлела нам черты
Его нелегкой временами,
Крутой и властной правоты.

Всего иного, может, боле
Была нам в жизни дорога
Та правота его и воля,
Когда под танками врага

Земля родимая гудела,
Неся огня ревущий вал,
Когда всей жизни нашей дело
Он правым коротко назвал.

Ему, кто вёл нас в бой и ведал,
Какими быть грядущим дням,
Мы все обязаны победой,
Как ею он обязан нам.

Да, мир не знал подобной власти
Отца, любимого в семье.
Да, это было наше счастье,
Что с нами жил он на земле.

Через много лет, описывая и анализируя ключевые события истории России XX столетия, Кожинов специально остановится на этом эпизоде:

"...Публично осуждали Твардовского не за его... строфы, а за появившиеся в редактируемом им журнале "вольнодумные" в том или ином отношении статьи В. Померанцева... М. Лифшица... и др., подвергавшиеся критике в печати с самого начала 1954 года. Но есть достоверные основания полагать, что "сталинские" стихи поэта сыграли главную роль в его отставке. Дело в том, что "Новый мир" уже подвергался не менее резкой критике ранее, в феврале-марте 1953 года за публикацию также отмеченных "вольнодумством" романа В. Гроссмана "За правое дело", повести Э. Казакевича "Сердце друга", статей А. Гурвича, В. Огнева и т. п., но вопрос об отставке Твардовского тогда даже не возникал. А "оправдание" Сталина в его стихах затрагивало в тот момент насущнейшие интересы самых *верхов* власти, и Твардовский был в начале августа 1954 года отстранён и заменён... Симоновым, который к тому времени "исправился"...

Твардовский и Симонов принадлежали, в общем, к одному поколению, вступившему в литературу в начальный период безраздельной власти Сталина, и являли собой не только литературных деятелей – они были причастны идеологии и даже политике (оба они, кстати, побывали в составе ЦК КПСС), то есть являлись в прямом смысле слова деятелями *истории* страны. Но между ними было коренное различие, которое, правда, не выражалось резко и открыто. Твардовский, в конечном счёте, исходил из своих собственных глубоких убеждений (насколько они были истинными – это уже другой вопрос), а Симонов – из господствующей в данный момент идеологии..."

К 1956 году было освобождено более 80 процентов политзаключённых. В воздухе явственно ощущались глобальные перемены. Но никто не ждал и не мог ожидать того, что произошло в феврале на XX съезде партии.

О докладе Первого секретаря ЦК КПСС Хрущёва "О культе личности и его последствиях", произнесённом за закрытом заседании, поначалу ходили смутные слухи. И лишь через некоторое время доклад стали публично зачитывать в официальных учреждениях. В том числе и в ИМЛИ.

Для многих, привыкших к безусловному восприятию всего, что нисходит с высоких трибун, прослушивание документа обернулось сильнейшим психологическим шоком. Но люди думающие и сопоставляющие факты, хотя бы в первом их приближении, не могли не задать (если не публично, то хотя бы самим себе) ряд нелёгких вопросов.

“Этот человек будто бы всё знает, всё видит, за всех думает, всё может сделать; он непогрешим в своих поступках. Такое понятие о человеке, и, говоря конкретно, о Сталине, культивировалось у нас много лет”, – вещал Хрущёв.

Волей-неволей вставал неизбежный вопрос: само по себе культивировалось? Или это понятие “культивировали” конкретные люди? И какова в этом “культивировании” роль самого Никиты Сергеевича? Каждый мог сказать: ничуть не меньшая (если не большая), чем выступивших ранее с критикой последствий “культа личности” Андрея Маленкова и уже к тому времени расстрелянного Лаврентия Берии.

А дальше – больше. Сталин, – как следовало из доклада, – безусловный борец “за построение социализма в нашей стране”, но вот его “культ” “превратился на определённом этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжёлых извращений партийных принципов, партийной демократии, революционной законности”.

На каком именно этапе? И что такое “извращение революционной законности”, если любая революция сама по себе отменяет в с я к у ю прежнюю законность, что было очевидно даже из школьных учебников истории того времени?

Письмо Ленина Сталину, оглашённое Хрущёвым, как бы санкционировало нынешнее “разоблачение культа”. При этом цитата из ленинского “письма съезду” (“Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть”) опять же заставляла задуматься: кто конкретно “сделал” Сталина генсеком и сколько времени ему понадобилось на “сосредоточение” этой самой власти?

И это было лишь начало доклада. А далее следовало признание безусловной заслуги Сталина в борьбе с троцкистами и бухаринцами, с “правым уклоном”, который якобы делал ставку на “кулака”, утверждение, что “Сталин ввёл понятие “враг народа”... Любой человек, начитанный хотя бы поверхностно в мировой истории, не мог не сообразить, что понятие “враг народа” известно со времён Великой французской революции (газета неукротимого проповедника террора Жана-Поля Марата называлась “Друг народа”), и тут уже – хочешь не хочешь – приходили мысли и о термидоре, и о том, не поступил ли Сталин так, как в своё время не смог или не успел поступить Робеспьер, отправив на “гильотину” своих товарищей по партии? Ибо, если Сталин был прав в борьбе против “троцкистко-зиновьевского блока”, то почему на следующем этапе “борьбы” он становится преступником?

Оглашённое на съезде письмо Роберта Эйхе, упоминание среди “ни в чём не повинных коммунистов” Косиора, Чубаря, Постышева, Косарева не разрешало тяжких сомнений, а лишь порождало всё новые и новые. Дальнейшее, уже рассчитанное на чересчур легковерных людей, вроде того, что военные операции “Сталин планировал по глобусу”, что Сталин “страну и сельское хозяйство изучал только по кинофильмам”, что “украинцы избежали этой участи (высылки. – **С. К.**) потому, что их было слишком много и некуда было выслать. А то бы он и их выселил” – всё это напоминало какую-то трагикомическую карикатуру. Не зря стенограмма сохранила рядом с этими словами помету: “*Смех, оживление в зале”.*

Естественно, при упоминании “Ленинградского дела” фигурировали лишь имена Сталина, Берии и Абакумова, но не Маленкова (не говоря уже о самом Хрущёве). Обилие жутких фактов, по-своему перетолкованных, вставленных в “нужный контекст”, не давало возможности тут же проанализировать услышанное по существу. Но какие-то концы с концами можно было связать и на ходу.

“...Мы чувствовали, что дело с арестом врачей – это нечистое дело... Это позорное “дело” было создано Сталиным, но он не успел его довести до конца (в своём понимании), и поэтому врачи остались живыми. Теперь все они реабилитированы, работают на тех же постах, что и раньше... “

И сразу после этого пассажа:

“В организации различных грязных и позорных дел гнусную роль играл махровый враг нашей партии, агент иностранной разведки Берия, втёршийся в доверие к Сталину”.

Немного времени ведь прошло с тех пор, как реабилитация врачей состоялась именно по указу Берии – “мерзавца”, который “шёл вверх по государственной лестнице через множество трупов на каждой ступеньке” (по словам Хрущёва).

И дальнейшее "детективное повествование" о том, как пытались раскрыть партии глаза на "мерзавца" старые большевики Каминский, Снегов, Картвелишвили-Лаврентьев, "старый коммунист т. Кедров", в глазах большинства людей воспринималось, как отчаянная борьба благородных (и проигравших) с выигравшими негодяями, а думающего и сомневающегося меньшинства – как взаимное сведение счётов между борцами с "врагами народа" как с той, так и с этой стороны.

...Глобальные последствия этого доклада (особенно после публикации его на Западе) слишком хорошо известны: разрыв отношений с Китаем, фактический распад "левого движения" в Европе, кровавое восстание в Будапеште (самое поразительное: уже после провокационных выстрелов одновременно в демонстрантов и советских военнослужащих, произведённых 25 октября неизвестными снайперами (!) и прибытия из Австрии групп вооружённых боевиков, в том числе венгерских нацистов, 30 октября газета "Правда" публикует "Декларацию об основах взаимоотношений с соцстранами", где происходящее в Венгрии оценивается как "справедливое и прогрессивное движение трудящихся". И лишь после кровавых уличных расправ над венгерскими коммунистами – одновременно с кризисом в районе Суэцкого канала, грозящим перерасти в третью мировую войну, – СССР принимает меры для подавления "фашистского мятежа"). Интересно, как оценивали происходящее молодые интеллектуалы-гуманитарии?..

"Помню, – писал на склоне лет Кожинов, – как... Георгий Гачев предложил своеобразное объяснение 1937 года. Победившие в октябре 1917-го революционеры были убеждены, рассуждал он, что они сами по себе суть власть, что "Советское государство – это мы сами". Но затем создалась прочная и многосторонняя государственная структура, и люди, продолжавшие сознавать и вести себя так, как будто именно и только они являются воплощением всей власти, стали "лишними" и уже потому "вредными". Гачевская мысль производила особенно сильное впечатление и потому, что собственный его отец, – эмигрировавший в 1926 году в СССР болгарский революционер, – был в 1938 году репрессирован и в 1945-м скончался в лагере..."

Пётр Палиевский был ещё более радикален. Он утверждал, что 1937 год – это великий праздник, праздник *исторического возмездия*. Тогда – в середине 1950-х годов – это звучало даже не как ересь, скорее, как опровержение всей становящейся новой идеологии. Но под этими – внешне эпатажными – заявлениями была весьма солидная основа.

Молодые люди в это время читали не только русскую и мировую классику. По рукам ходили переведённые на русский язык и перепечатанные в неучитываемом количестве экземпляров "1984" и "Скотный двор" Джорджа Оруэлла, "О, дивный новый мир!" Олдоса Хаксли, "Слепящая тьма" Артура Кестлера.

Да, это был своего рода интеллектуальный пир, почва для столкновений, споров, размышлений о природе социализма, о его изводе в истории советского государства. Всё прочитанное проецировалось на отечественное бытие – тем более, что перед современниками во весь рост вставали тени двадцать лет тому назад казнённых, а ныне реабилитируемых Акулова, Алксниса, Антонова-Овсеенко, Артузова, Беленького, Белобородова, Берзина, Бермана, Блюхера, Бокия, Бубнова, Варейкиса, Вацетиса, Гамарника, Гарькавого, Гендина, Гикало, Глебова-Авилова, Голодеда, Дерибаса, Дыбенко, Жуковского, Затонского, Икрамова, Кабакова, Калмановича, Каминского, Квиринга, Киршона, Косиора, Крыленко, Лациса, Литвина, Лозовского, Межлаука, Мессинга, Осинского, Петерса, Постышева, Пятницкого, Тухачевского, Уборевича, Хатаевича, Шеболдаева, Эйхе, Якира. Чиновники, военные высших чинов, работники НКВД – партийцы, "недореабилитированные" Берией, о реабилитации которых в первую очередь позаботился Хрущёв. Кровью заливавшие страну. Арестовывавшие, судившие, отправлявшие на расстрел друг друга... Все они – каждый в отдельности и вместе взятые – отражались в образе кестлеровского Рубашова, твердокаменного большевика, апологета мировой революции, казнимого утверждённой им властью. Создавалось впечатление (точнее, сознательно нагнеталось), что трагедия 1937 года (а это была – подчёркивалось со времён хрущёвского доклада – трагедия "того дровья, что вспыхнуло и сгорело в тридцать седьмом году", как писал входящий тогда в литературную славу Борис Слуцкий) – это трагедия партийцев, чекистов, военных, "без которых враг и дошёл в 41-м почти до Москвы"...

И трагедия, и моральные терзания Рубашова, и "казарменный социализм", сотворённый в "ангсоце" и "скотном дворе" Оруэлла, где "все животные равны, но некоторые – равнее других" (в образе "главной свиньи" не мог не усматриваться новый глава СССР), в "дивном новом мире", – всё это накладывалось на воспоминания о французском термидоре, и от устоявшегося афоризма "революция пожирает своих детей" мысль шла к судьбе советских термидорианцев, также "сделавших своё дело"... И волей-неволей вставали вопросы: "За что боролись?" и "От какого наследства мы отказываемся?" А также вечный и неизбежный вопрос русской истории: "Что делать?"

Само собой разумеется, что, встречаясь с многочисленными простодушными людьми, для которых хрущёвский доклад на XX съезде стал истиной в последней инстанции, Кожинов (которому не было ещё и тридцати!) очень про себя веселился, наслаждаясь невинным розыгрышем: он с самым серьёзным видом уверял, что точнее всего о 1937 годе написал Корней Чуковский. И начинал со своими комментариями цитировать сказку "Тараканище", написанную в 1923-м: "Ехали медведи на велосипеде... Зайчики – в трамвайчике, жаба – на метле... Едут и смеются, пряники жуют... "Это – достижения первых пятилеток", – комментировал Вадим Валерианович. Ну, а дальше... Дальше наступает нечто страшное: "Вдруг из подворотни – страшный великан, рыжий и усатый та-ра-кан..." "Кстати, – вставлял Кожинов, – Сталин был то время рыжеват, поседел потом". И читал дальше – с выразительной интонацией: "Приводите ко мне своих детушек, я сегодня их за ужином скушаю..." Ну, и конечно: "Звери задрожали – в обморок упали. Волки от испуга скушали друг друга..." "Вот он – 1937-й! – заключал Кожинов. – Точнейшая картина! "А слониха, вся дрожа, так и села на ежа..." Понятно, о ком идёт речь? Конечно, о наркоме внутренних дел!"

И этот примитивный розыгрыш действовал безотказно! Слушатели в полной мере отождествляли Сталина – героя хрущёвского доклада – с тараканищем Чуковского и восхищались смелостью детского поэта!.. Честно говоря, когда уже в 1970-е годы я услышал от Кожинова этот рассказ, я не поверил ему до конца. Однако пришлось убедиться в его полной справедливости. Через какое-то время в обществе еще не слишком хорошо знакомых мне людей я повторил кожиновский "анализ" "Тараканища". И все окружающие, как один, приняли его за чистую монету!

А в декабре 1956 года зал заседаний Института мировой литературы на Поварской был забит до отказа. Шло обсуждение нашумевшего и обсуждаемого на всех углах напечатанного в "Новом мире" романа Владимира Дудинцева "Не хлебом единым". Такого шума не произвела даже пресловутая эренбурговская "Оттепель".

Драматическую судьбу инженера Лопаткина пересказывали, пережёвывали, пере... Чего только не "пере"! И в этом шуме почти незамеченной прошла жёсткая и по-настоящему трагичная повесть Павла Нилина "Жестокость", с разговора о которой и следовало начать анализ послесталинской литературы на фоне всей советской истории.

Но это уже, наверно, чрезмерные требования к тому времени. Факт остаётся фактом: сначала состоялось триумфальное обсуждение Дудинцева в ЦДЛ, где Всеволод Иванов, Валентин Овечкин, Владимир Тендряков и, особенно, Константин Паустовский возносили до небес автора, славили неукротимого Лопаткина и низвергали подлого Дроздова... В общем – триумф!

Бенедикт Сарнов, присутствовавший на том собрании, вспоминал, как "клочья летели" во время обсуждения... И тут выступил ещё один молодой человек, умудрившийся проникнуть в заветную комнату над дубовым залом. Задумчиво, решая для себя важную проблему, он произнёс:

– Я лично разделяю для себя понятия рассказ и новелла.

Из дальнего угла выдохнул бывший фронтовик и зек Борис Бедный:

– Счастливый человек!

Может быть, ошибусь, но рискну предположить, что этим молодым человеком был Кожинов, именно в это время занимавшийся историей литературных жанров.

Может быть, он сознательно сбивал чрезмерный пафос выступавших. А может быть, действительно на ходу решал теоретическую проблему... Так или иначе – документальных свидетельств о его личном присутствии на том собрании мы не имеем.

Не то было в ИМЛИ. Там речь уже не шла о жанрах. Вадим выбрал совершенно другую тему.

Он зачитал отрывок из сталинского доклада от 10 марта 1939 года на XVIII съезде ВКП(б): "За отчётный период ("с 1934 года", – уточнил Кожинов) партия сумела выдвинуть на руководящие посты по государственной и партийной линии более 500 тысяч молодых большевиков партийных и примыкающих к партии".

– Это значит, – последовал комментарий выступающего, – что более 500 тысяч людей, находившихся ранее на руководящих постах, сумели "задвинуть"...

Поднялся негодующий шум. Уже эти слова были восприняты, как крамола, учитывая атмосферу в стране после венгерских событий. С резкими репликами в адрес молодого аспиранта выскочил на трибуну бывший неукротимый борец с космополитизмом Александр Дементьев, уже перекроившийся в неистового антисталиниста... Сама по себе мысль, что прежние палачи через достаточно короткое время сами становятся жертвами, была нестерпима для послушных исполнителей партийных идеологических зигзагов.

А для Кожинова и его друзей это противопоставление – жертв и палачей – означало просто неумение ни мыслить, ни анализировать.

...И Ленин уже читался другими глазами. И заново перечитывался Маркс. И бродили, и озвучивались тревожные и насущные размышления о судьбе советской цивилизации.

В этих дискуссиях молодые ИМЛИйцы обретали новых собеседников, таких же, как они, выпускников МГУ – Юрия Давыдова, Леонида Пажитнова, Бориса Шрагина, Юрия Карякина, Александра Зиновьева... Большей частью эти интеллектуальные пиры проходили на квартире одного из характернейших и интереснейших людей той эпохи – философа Эвальда Васильевича Ильенкова.

* * *

"Тридцатилетний Ильенков, – вспоминал Кожинов, – ...казалось, целиком и полностью пребывал в самодовлеющем мире философии. Правда, в нём отнюдь не было цеховой замкнутости, он легко сходился со многими и разными людьми, но всё же создавалось впечатление (и убеждён, не только у меня), что философия была его единственным интересом, единственной страстью.

Помню, как летом 1958 года мы оказались вместе с ним в Коктебеле, и меня очень удивило его горячее увлечение собиранием черноморских мидий с целью устроить экзотическое пиршество (так, впрочем, и не осуществившееся, поскольку мидий нашлось слишком мало). Я-то полагал, что Эвальда влечёт лишь "пир" в платоновском смысле. И с полным основанием можно сказать, что его философские беседы были настоящими пиршествами, создававшими эффект буквального "насыщения", ибо о сугубо "абстрактных" проблемах он умел говорить с предельной, подчас поражающей конкретностью (безусловная "конкретность" истины вообще была едва ли не основным его девизом), так что самые "бесплотные понятия словно обретали осязаемую плоть.

Близкие ему люди знают, что Эвальд Ильенков был убеждён во вполне реальном бытии понятий, то есть, если воспользоваться разграничением, принятым в средневековой западноевропейской философии, был сторонником "реализма", а не "номинализма", который считается предшественником материализма Нового времени...

Нельзя умолчать и о том, что устное философствование Эвальда впечатляло намного сильнее, чем все написанные им тексты... Смысл ильенковских книг и статей значительно труднее воспринять во всей полноте, во всех оттенках. А живое общение с мыслителем в самом деле являло собой философский пир..."

Фронтовик, орденоносец, участник штурма Берлина, выпускник философского факультета МГУ, одно время ведший там спецсеминар, посвящённый логике "Капитала" Карла Маркса, Ильенков был крайне интересной и самобытной личностью.

Его тезисы (совместно с Валентином Коровиковым) “К вопросу о взаимосвязи философии и знаний о природе и обществе в процессе их исторического развития”, где авторы утверждали, что философия не может решать проблемы современных наук, а может быть только теорией познания, что сама философия есть наука о научном мышлении, о его законах и формах, а реальный мир она изучает в той мере, в какой он находит своё идеальное выражение в человеческой мысли, и что нет ни истмата, ни диамата, а есть материалистическая диалектика как логика мышления и деятельности и как материалистическое понимание истории, – были заклеймены в отчёте проверявшей факультет комиссии Отдела науки ЦК КПСС как “рецидив давно разгромленного и осуждённого партией меньшевиствующего идеализма” и “извращение философии марксизма”. Обвинённые в гегельянстве соавторы тезисов были отстранены от преподавания, а Коровиков вообще уволен из университета.

Ильенков в это время был самым настоящим гегельянцем и в то же время пристальным, вдумчивым исследователем Маркса. Он настаивал на том, что “подлинное понятие не только абстрактно, но и конкретно... его определения сочетаются в нём в единый комплекс, выражающий единство вещей, а не просто соединяются по правилам грамматики”.

Следуя за Гегелем и Марксом, он представлял конкретное как единство многообразного, предполагая диалектическое понимание категорий единого и многого, выражающих объективную взаимосвязь всех необходимых сторон реального предмета. Теория мышления, – настаивал он, – полностью совпадает с материалистической диалектикой.

Его беседы о целостном образе, о мыслящем бытии производили неизгладимое впечатление. “Нет мышления без материи и нет материи без мышления. Мышление – абсолютно высшая форма движения и развития”.

Тайна творчества, объяснял он, непосредственно связана с природой идеи и с природой идеального. Чтобы выражение сущности вещи было идеальным, материалом для него должно стать общественно значимое тело другой вещи. Вещь как бы вручает свою “душу” этой другой вещи, чтобы та сделала её своим символом. Идеи – не предельные абстракции нашего рассудка, а нормы, своего рода образцы бытия, придающие смысл нашей активности – как внутренней, так и внешней. Сама по себе идея должна быть недосягаемо выше, чем возможности её исполнения.

Личность, – рассуждал Ильенков. – тем значительнее, чем полнее и шире представлена в ней – в её делах, в её словах, в поступках коллективно-всеобщая, а вовсе не сугубо индивидуальная неповторимость. А неповторимость подлинной личности состоит в том, что она по-своему открывает нечто новое для всех. Истина есть не что иное, как противоречие, взятое в том виде, в каком оно разрешается самим предметом рассмотрения не только в сознании, но и в объективной реальности. Диалектическая же логика – учение о формировании и бытии метода конкретного разрешения реальных противоречий.

Истина конкретна. И противоречия не должны внушать страх. Они должны служить стимулом к их разрешению.

Немаловажно для Кожинова, наверное, то, что его знакомство с Ильенковым пришлось на время работы философа над “Космологией духа”, основные мысли которой, можно предположить, Эвальд Васильевич “обкатывал” на своих слушателях. Смысл и цель существования во Вселенной разумных существ в том, что им суждено противостоять энтропии Вселенной. Смерть мыслящего духа становится творческим актом рождения новой Вселенной и в ней – иных разумных существ.

Он рассматривал диалектику абстрактного и конкретного на примере “Капитала” Маркса в своей известной книге, но, по сути, в своих размышлениях выходил за пределы изучаемого труда, настаивая на необходимости восхождения “от неполного (“абстрактного”) представления о предмете к всё более полному и всестороннему знанию о нём”. Понятия личности, свободы и таланта для этого учёного были неразрывны.

Все слушатели и собеседники Ильенкова позже говорили о нём как о человеке, удивительно умевшем излагать сложное не только просто, но буквально материализуя духовные категории, отчего они являлись как бы воочию. Это была “зрячая мысль”, способность “видеть то, что мыслишь”. И не просто видеть, а передавать своё ви́дение собеседнику.

“Словами он действовал, как пальцами, расщепляя и раздвигая тонкие лепестки и обнажая, вышелушивая что-то очень конкретное – мысль”, – вспоминал один из его собеседников и учеников Лев Науменко. Он как бы ещё и проверял материальность мысли. Той, что существует не для одного, а для всех.

В беседах о социализме, о его природе Ильенков, апеллируя к Марксу. подчёркивал, что при социализме преодоления отчуждения труда не произошло. Оно должно наступить лишь с превращением частной собственности “в реальную возможность *каждого* индивида, *каждого* члена общества”. Коммунизм для Маркса, в его размышлении, “не идеал, с которым должна сообразовываться действительность, а действительное движение, призванное уничтожить теперешнее состояние”. В обществе капитализма, где значительная доля богатства, созданного человеческой деятельностью, летит на ветер, разделение труда ведёт к профессиональному кретинизму (особенно когда профессией становится политика).

Коммунизм для Ильенкова – единственная теоретическая доктрина, “предусматривающая ликвидацию пресловутого отчуждения”. Но коммунизм для него – не только доктрина, но и реальность, создающаяся в нашей стране. Другое дело, как он видел, создающаяся в извращённых формах, ибо отрицание частной собственности порождает иллюзию, что это и есть “позитивное разрешение” всех проблем цивилизации: превращение частной собственности в государственную лишь углубляет отчуждение общества от индивида.

Идеализм? Нет, идея, которая выше возможностей её исполнения. Но, верил он, досягаемо выше.

Позитивизм Ильенков уничтожал. Релятивизм и плюрализм ненавидел. “Ни один из “правоверных” марксистов-ленинцев не вызывал у него симпатии, – вспоминал Науменко, – и, напротив, совсем было не обязательно быть марксистом, чтобы заслужить его уважение. Лосев, к примеру. Или И. Ильин. Но были среди марксистов люди принципиальные, марксисты твердокаменные. Эвальд о них не сказал ни одного обидного слова, хотя интересны они ему не были. Но в большинстве-то своём они были “прохиндеями”...” Слишком хорошо знал философ цену этому “прохиндейству”. И он же в своей докторской диссертации “К вопросу о природе мышления (на материалах анализа немецкой классической диалектики)” (в этой диссертации он ставил сверхзадачу “создать такое систематическое изложение материалистической диалектики, которое на деле (а не на словах только, во всех отношениях (по глубине и тонкости анализа) превосходило бы немецкую классическую философию”), опираясь на “критику разума” Канта, писал (а ранее наверняка проверял эту мысль на собеседниках), что “познание всегда осуществлялось и всегда будет осуществляться через полемику, через столкновения и борьбу полярно противоположных идей, взглядов, гипотез, теорий и понятий. Дело не в том, чтобы этот факт отрицать, и не в том, чтобы стараться от него избавиться. Дело может состоять только в том, чтобы борющиеся в науке “партии” были бы взаимно вежливы и взаимно уступчивы, а для этого – самокритичны. В этой ситуации возможен только один выход, достойный культурных людей – добиться того, чтобы законное стремление провести логично и систематически в исследовании определённый принцип не превращалось бы в параноическое упрямство, в догматическую слепоту, мешающую усмотреть “рациональное зерно” в суждениях теоретического противника, исходящего из полярно противоположной идеи. При условии “самокритичности” разум будет находить в критике противника средство своего собственного усовершенствования”.

Мы ещё увидим, как эти рассуждения не просто повлияли на Кожинова – как они, точнее говоря, сформировали многое в его внутреннем мире, в его творческой позиции.

Сам же Вадим в своих поздних воспоминаниях об Ильенкове, рисуя сложный, противоречивый (не боясь этих противоречий) целостный образ, акцентирует чрезвычайно важные для него ноты:

“Все, близко знавшие Ильенкова, наверняка помнят об исключительном значении музыки Вагнера в его жизни (конечно же, эта музыка существовала для него в нераздельном единстве с великой философией Германии). Мне, как – знаю – и другим, Эвальд неоднократно предлагал погрузиться вместе с ним в “Кольцо нибелунгов” и явно был готов, не прерываясь, слушать всю многочасовую оперную тетралогию (у него имелись её отличные грамзаписи)

до конца... Признаюсь, я (да и другие) не был способен на столь долгое погружение в эту напряжённую музыкально-философскую мистерию. К тому же лицо Эвальда воплощало в себе при этом такое полнейшее сопереживание, которое и захватывало, и как-то глубоко и даже тяжко тревожило..."

К слову: Пётр Палиевский, бывший ближе Кожинова знаком с Ильенковым и чаще у него бывавший, сказал мне в одном разговоре, что он всю вагнеровскую тетралогию выслушал д о к о н ц а, и это было невероятным мыслительным, психологическим и физическим напряжением (Лев Науменко вспоминал, что Ильенков вёл о Вагнере долгие телефонные разговоры с Лосевым).

Но вернёмся воспоминаниям Кожинова:

"Я познакомился с Эвальдом Ильенковым, когда его философское предназначение вполне оформилось, откристаллизовалось; он воспринимался как человек, словно специально созданный для мыслительной деятельности. Его взгляд запомнился мне всегда тревожно устремлённым в безграничную ширь Мира и одновременно – в глубь мыслящего духа. Он был в чём-то похож, – по крайней мере, по моему впечатлению – на проникновенного мыслителя первой половины XIX века Ивана Киреевского, хотя это ни в коей мере не соответствовало его собственному, ильенковскому самосознанию. Перелистывая однажды в моём доме старинное собрание сочинений Киреевского, Эвальд высказался неодобрительно не только о его трудах, но и о выражении его лица на портрете...

...Здесь перед нами встаёт самая, пожалуй, сложная проблема ильенковской мысли. Он постоянно утверждал, что философия должна быть **теорией познания** – и только ею... Но я склонен полагать, что глубокой причиной стремления Ильенкова "ограничить" философию гносеологической проблематикой являлась не верность марксистскому завету и даже не убеждение в истинности такого понимания цели философии... Сведение философии к теории познания, к гносеологии не совпадало с целостной жизнью его духа, противоречило ей.

Он утверждал, например (убеждая, быть может, не столько собеседников, сколько самого себя), что проблема **смерти** – не философская, что её призвано осваивать **искусство** (та же музыка Вагнера!), а не мысль как таковая. Но он, без сомнения, глубоко и напряжённо мыслил и о смерти личности, и о конце человечества в целом, что подчас невольно обнаруживалось.

Так, в начале 1960-х он побывал на философском конгрессе в Вене и посетил там выставку "авангардной" живописи, которая произвела на него очень сильное впечатление, но не с точки зрения художества, искусства, а в качестве определённого симптома – симптома, если угодно, эсхатологического. Он говорил (и даже кратко написал) о том, что присущее множеству взявших в руки кисти людей подобное восприятие мира как распада, хаоса, **безобразия** (с ударением и на "о", и на "а") – являет собой предвещание близящегося всеобщего **конца**...

Я не ставлю вопроса о правоте либо неправоте этого умозаключения, порождённого венской экспозицией; я хочу только показать, что мысль Эвальда Ильенкова не была всецело поглощена разработкой гносеологических проблем (хотя в этом деле он не имел себе равных!)... Не сомневаюсь, что в нём всегда жило и развивалось глубокое и мощное осознание трагедийности бытия...

При всём том Ильенков настоятельно стремился заключить свои философские искания в рамки, в границы теории познания, в как бы всецело бесстрастное изучение **возможностей** приближения разума к объективной истине. И не так легко понять, чем это ограничение было вызвано...

Думаю, что тут была сугубо личная причина. Сам, если так можно выразиться, **мыслительный организм** Эвальда Ильенкова, неотделимый от всего его не только душевного, но и телесного существа, с такой чрезвычайной обострённостью, даже потрясённостью реагировал на основополагающие "роковые" темы человеческого бытия, <...> что, отдавшись им, этот организм мог как бы взорваться..."

Этот замечательный портрет Ильенкова был написан через много лет, через дымку времени, на том расстоянии, на котором можно было *увидать лицо к лицу*. Кожинов не случайно вспомнил реакцию Эвальда Васильевича на авангардную живопись. В конце 1950-х годов он сам пережил кратковременное, но чрезвычайно сильное увлечение ею. И не только ею.

* * *

Сейчас много кому может показаться удивительным, что Кожинов был первым организатором "домашней выставки" полотен Оскара Рабина и "представлял" на ней поэзию ещё одного "лианозовца" Игоря Холина, читавшего стихи, которые потом записывали и повторяли собравшиеся на это действо литераторы (как вспоминал Вадим Валерианович, их было более семидесяти):

Дамба. Клумба. Облезлая липа.
Дом барачного типа.
Коридор. Восемнадцать квартир.
На стене надпись: "Миру — мир!"

Во дворе Иванов морит клопов.
Он бухгалтер Гознака.
У Барановых — пьянка.
У Сидоровых — драка.

Это была, конечно, не поэзия, но стихотворный з н а к того времени, времени духовного полураспада в целом слое художественной интеллигенции, и Кожинов ещё тогда, может быть, не сознавая этого в полном объёме, ощущал необходимость подобного творчества.

Доклад на этой презентации делал Сергей Чудаков, ещё один инфернальный персонаж той эпохи, шокировавший и восхищавший одновременно окружающих своим стихотворчеством:

Ильич отсель наш агнец лысоватый
Был вундеркинд, а ныне экспонат.
Висел в петле его мятежный брат,
Играла мать кучкистские сонаты...

На том собрании Чудаков охарактеризовал и живопись Рабина, и стихи Холина как примеры нового стиля – стиля "баракко"... Присутствовавший там же Евгений Евтушенко, только набиравший настоящую популярность, потом благополучно перекроил это "одеяние" на самого себя – со временем у него вошло в привычку напяливать на себя чужие "одежды":

У барака учился я больше, чем у Пастернака.
Драка — это стихия моя.
И стихи мои в стиле "баракко".

Алексей Пузицкий вспоминал своё присутствие на этой "презентации": "Однажды он (Вадим. – **С. К.**) привёл меня на выставку картин О. Рабина, устроенную в большой квартире на набережной Москвы-реки. Картины поражали необычностью и мрачным взглядом художника на жизнь. Селёдочные скелеты на фоне чёрных бараков и ржавых консервных банок, и тому подобное. Всё это оценивала восхищённая богемистая публика, слонявшаяся из комнаты в комнату. Мальчики и девочки. Присутствовал сам автор. Увидел я и И. Холина, стихи которого так созвучны картинам. Всё необычно. Бог спас меня от этой компании, и я больше там не появлялся".

Это было отрицание не только прежнего искусства, но и породившего его всего прежнего бытия, что Вадим очень остро почувствовал. "Важно осознать (хотя мало кто это делает), – писал он впоследствии, – что авангардизм второй половины XX века явился своего рода *возмездием* авангардизму первой трети века, ибо последний отвергал "старый мир" (и его литературу), а "новый мир" (и его литература) оказался во многих отношениях намного или даже гораздо хуже..."

Кожинов же был организатором одного из первых (домашних) концертов Булата Окуджавы с его первыми песнями.

Интересно (и симптоматично одновременно), что ни Рабин, ни Окуджава никогда не вспоминали о роли Вадима Валериановича в их творческой жизни. Так же, как ни разу не упомянул о своём знакомстве с Кожиновым в обществе Ильенкова в своих, изданных уже за рубежом мемуарах и Шрагин.

(Продолжение следует)